

А. И.
ЭРТЕЛЬ

Сочинения



Александр Иванович Эртель

Обличитель

«Царило тяжелое молчание... Все чего-то робели...
Словно ужас витал в этой теплой, ярко освещенной
солнышком, богатой лавке... Мальчик, приставлен-
ный к двери, позабыл про вечную встречу попутате-
лей и, испуганно расширив зрачки глаз, глядел на
грозное чудище...»

Александр Иванович Эртель
Обличитель

В один зимний, жгуче-морозный денек был я по делам в своем уездном городке N***. Между прочими делами мне предстояла покупка многих так называемых «бакалейных» товаров для деревенского обихода. Эти товары я всегда покупывал в лавке купца Максима Назаровича Галдеева, следовательно, и теперь направился туда же.

Лавка у Галдеева была хотя бы и не для нашего плохонького городка. Окна с цельными зеркальными стеклами, изящные, стеклянные же двери, вывеска во всю длину большого двухэтажного дома, на которой ярко горели аршинные золотые буквы, вещающие про «Магазин колониальных и бакалейных товаров 1-й гильдии купца М. Н. Галдеева», — все это резко выделялось из ряда соседних невзрачных лавок, хотя тоже и претендующих на громкое наименование «магазинов». Товар в лавке Галдеева всегда был хороший, отменный, товар от дорогих иностранных вин до чая всевозможных сортов включительно.

Галдеевы были богатые купцы, переселившиеся в N***, тому назад лет тридцать, из

торгового села Красноярья, где они нажили капиталы. Теперь у них и дома в городе, и бойко торгующий магазин, и гурты, и степи. Капиталы у Галдеевых были молодые, недавние капиталы. Есть и теперь старожилы в Красноярье, помнящие, как Назар Кузьмич Галдеев сидел целовальником в их селе. Состояние нажилось как-то необычайно скоро и таинственно этим Назаром Кузьмичом, теперь восьмидесятилетним, полуслепым, но все-таки крепким стариком, вечно сидевшим на кожаном мягком кресле в углу магазина. История нажитая галдеевских капиталов, как и всякая таинственная история, имела много разнообразнейших вариантов, хотя почти в каждом из них преобладал элемент либо чего ужасного, либо и вовсе сверхъестественного... По одним сказаниям «дедушка» — так звал старика Галдеева весь город — был колдун и нажил деньги при помощи «врага рода человеческого», попросту — черта; по другим — этот же «дедушка» в молодости кого-то убил, кого-то зарезал, вытащил у зарезанного изрядный куш денег, а там уж и пошел и пошел... Но год от году, по мере того как сила и

слава Галдеевых увеличивалась, сказания эти
глохли и глохли... Те, которые содержали в се-
бе сверхъестественный элемент, так и вовсе
выселились из N***, осмеянные молодым по-
колением и обессиленные наплывом отрица-
тельных идей, проникших, вместе с желез-
ной дорогой, до N***-ской глуши. Они скром-
но приютились по селам и деревням, где, на-
перекор всем веяниям века, вероятно еще
долго будут пользоваться авторитетом в
устах стогодовалых старух, вечно лежащих
на печи. Те же, от которых веяло правдоподо-
бием, уступали место новым, блестящим ска-
заниям, эффектно вещающим о силе и славе
капиталистов Галдеевых; только и слыша-
лось: Галдеев новый участок земли снял! Гал-
деев степь купил в Самаре! Галдеев новую ко-
локольню в Красноярье строит!..

У «дедушки» было два сына: Максим Назарыч — хозяин магазина, и отделенный — Терентий Назарыч. Максим был воротила во всех делах: и в лавке сидел, и степями управ-
лял, и торговал гуртами. Терентий — держал
гостиницу и земскую почту. Старик жил с
Максимом.

Отрадное тепло встретило меня в лавке. В чугунной бронзированной печке — наподобие колонны — ярко пылали дрова. Длинный дубовый прилавок блестел лаком; за прилавком высились стеклянные шкафы с товаром. Несколько приказчиков суетливо сновали по лавке. Человек пять-шесть покупателей стояли и сидели у прилавка. У печки, на своем неизменном кожаном кресле, в лисьей долгополой шубе, сидел «дедушка», облокотившись на суковатую грушевую палку. Синие выпуклые очки закрывали {538} его больные глаза; угрюмое лицо, обросшее седыми волосами, глядело на этот раз не то чтобы весело, а как-то ласково-снисходительно... Против «дедушки», важно развалясь на мягком табурете и небрежно смакуя ликер из маленькой граненой рюмочки, сидел толстый барин, Ахулкин, — богач. Около него раболепно тянулся в струнку его управляющий. Барин ласково говорил с «дедушкой» о новостях, о торговле, о политике, на все получая умные, обстоятельные ответы, произносимые певучим, дребезжащим голоском и приправленные рассуждениями о плохих временах...

Я поздоровался с «дедушкой», удовлетворил его расспросам о здоровье, о житье-бытье и отошел к конторке, к Максиму Назарычу. В лавке царило одушевление, бойкость и веселость. Торговля была хорошая. По лицу «молодого хозяина» блуждала веселая усмешка. Мальчик то и дело отворял и затворял двери, впуская покупателей...

На фоне залитого светом зеркального окна обрисовалась какая-то мощная растрепанная фигура, идущая по тротуару. «Гуляев, Гуляев идет!» пронеслось по магазину. На высоком лбу дедушки пробежали неприятные, тревожные морщины, важного барина как-то конвульсивно передернуло, Максим Назарыч озабоченно нахмурился...

— Не пускать бы его... — сказал нерешительно Ахулкин, строя кислую мину.

— Никак нельзя-с, — ответил сумрачно Максим Назарыч, — в третьем году не пустили так-то, так он стекло кирпичом вышиб — пятьдесят рублей в Москве отдано-с, — а все-таки вошел...

В дверях показался Гуляев. Какой-то длинный, овчинный балахон, крытый нанкою и

до невозможности засаленный, облекал его высокую сторбленную фигуру; из-под рваной клинообразной шапки беспорядочными кло-чьями висели седые волосы. Из-под густых бровей мрачно светились какие-то безумно-горячие глаза. Синее, морщинистое лицо обрамляла спутанная, черная, с сильною проседью борода. Он опирался на высокий костыль и тяжело ступал ногами, обутыми в неуклюжие коневьи сапоги.

Мальчик не успел отворить ему дверь: он сам порывисто распахнул ее и, никому не кланяясь, подошел к конторке.

— Максим, чаю мне! — произнес он хрипатым басом, окидывая косым взглядом находящихся в лавке.

— На сколько прикажете, Ефрем Михайлыч? — предупредительно спросил его Максим Назарыч.

— Полфунта, в шесть гривен... — так же отрывисто сказал Гуляев.

Максим Назарыч приказал отвесить.

Царило тяжелое молчание... Все чего-то робели... Словно ужас витал в этой теплой, ярко освещенной солнышком, богатой лавке...

Мальчик, приставленный к двери, позабыл про вечную встречу покупателей и, испуганно расширив зрачки глаз, глядел на грозное чудище. Максим Назарыч что-то копошился в ящичке конторки и шепотом торопил приказчика, отвешивавшего чай Гуляеву. «Дедушка» пристально смотрел в окно сквозь свои темно-синие очки... Ахулкин тщетно старался изобразить непринужденную снисходительную улыбку: выходила какая-то жалкая гримаса. Его управляющий стушевался куда-то... Гуляев молчал, все более и более насупливая свои страшные брови...

— Ефрем! не хочешь ли ликерцу выпить? — вдруг ни с того ни с сего сказал Ахулкин и сам как бы испугался своей смелости.

Назар Кузьмич укоризненно поглядел на него. Все робко и любопытно оглянулись на Гуляева и вздрогнули...

— Горе вам, мытари и фарисеи! — вдруг грозно рявкнул Гуляев, выпрямляя свой сторбленный стан и поднимая свою огромную, заскорузлую руку по направлению к Ахулкину. — Горе вам, пьющим кровь брата своего, и терзающим внутренняя его, и пожи-

рающим благая его!.. Горе вам, грабителям и мздоимцам, и лиходеям, и блудникам, и чревоугодникам!

Голос Гуляева все возвышался и возвышался, рука поднималась выше и выше, глаза злобно искрились... В публике царило смятение... Ахулкин сконфуженно смаковал свой ликер, силясь вызвать на лицо пренебрежительную гримасу...

— Горе вам, разумеющим грех и творящим его!.. Горе вам, носителям скверны... ибо не знаете, в онь жечас приидет!.. Ты — упивающийся и объедающийся, чем уплатил за питье и яствы свои? Не кровью ли ближнего своего уплатил ты и не потом ли брата своего?.. Не оголодил ли ты неимущего, чтоб пресытить чрево свое мерзкое?.. Ишь налопался как! пояснил Гуляев, тыкая пальцем по направлению к объемистому животу Ахулкина, красного как рак и тщетно восклицавшего: «Как ты смеешь, негодяй!.. как ты смеешь!..»

— Пузатый ты черт! — гремел Гуляев, не обращая ни малейшего внимания на эти возгласы, — много ли нагребил с казны-то матушки?.. Много ли гостей накормил на те де-

нежки?.. Горе тебе, пузатый идол!..

— Это черт знает что! — кричал Ахулкин. — Вывести его, разбойника!.. Вон!..

— Ефрем Михалыч, будет тебе срамиться-то, — уговаривал Максим Назарыч.

Гуляев ничему не внимал.

— Не боюсь, тебя, смердящий бесе! — гремел он, покрывая своим басыщем и неистовый визг Ахулкина и мягкие речи Максима Назарыча, — режь меня за святую матушку правду, сажай меня в темницы — везде мне хорошо будет... Тебе-то, как накроют, весело ли будет?... А ведь накроют, голубчик, накроют... Терпит бог, терпит, да и перестанет терпеть-то!.. Покайся, грешник смердящий!.. Разорви одежды своя, и посыпь пеплом главу свою, и стяжание неправедное раздай нищим... А то — попомни мое слово — горе тебе будет!.. Не спасут воровские денежки... Точит на тебя зубы правда... Доконают тебя грехи твои смертные... Жив господь, и бодрствует гнев его страшный, и месть его куется на грешников! — восторженно заключил он, сверкая глазами.

Присутствующие трепетали... Некоторые

крестились, посматривая с ужасом на величественную фигуру Гуляева... Громоподобный голос его проник на улицу, и в лавку, пугливо перешептываясь, валили любопытные. Лица, почти у всех, были встревоженные и растерянные... Скандал разрастался. Максим Назарыч тишком услал приказчика за городовым, а Гуляев, бросив уничтоженного Ахулкина, все еще визгливо заявлявшего свои протесты, с сверкающим, озлобленным взглядом обратился к Назару Кузьмичу, смущенно ежившемуся в своем кресле и всю эту сцену беспомощно перебиравшему своими изможденными старческими губами...

— Ты, старый Иуда, долго ли будешь собирать несправедливую мзду свою?.. Долго ли будешь завистничать, и злоязычничать, и лицемерить Сильному, говоря: покаюсь, господи, когда приидеши за мною?.. Как же! расставляй карман, беззубый греховодник... Нет тебе покаяния и нет тебе прощения за грехи твои вопиющие!..

— Да будет тебе, Михалыч! — уговаривал Гуляева дедушка певучим, дрожащим голоском, — уйди-ко-сь от греха!.. Максим, за бу-

точником, что ль бы, послать, — тоскливо молил он.

— Нет, ты мне скажи, — все-таки не унижался Гуляев, — ты мне скажи, на какие капиталы ты дома построил, на какие деньги степь купил, от каких достатков гуртами торгуешь?..

— Наживи ты, Михалыч, и ты заторгуешь, — слабо смеялся дедушка.

Гуляев плюнул и негодуяюще поднял обе руки кверху.

— Будь ты проклят, окаянный душегубец!.. Да будут прокляты твои нечистые деньжищи!.. Горе тебе, нераскаянному грешнику... Вспомяни мои слова: горе тебе... Сгниет богатство твое и рассеется по ветру аки дым... Исчахнет и пропадет отродье твое греховное, и тернием зарастет могила твоя, и душа твоя окаянная ввергнется во ад, и слава твоя пройдет туманом...

— Бог с тобой, Михалыч, — бормотал испуганно дедушка.

— До конца живота моего бог во мне...

— За что ж ты лаешься-то?.. Ах, Михалыч, Михалыч...

— Кто сжег младенца безгрешного ради наживы нечестивой? — подступал Гуляев к душе, — от кого работник Еремей калязинский задушился? Кто у сызранского купца бумажник из-под подушки вытащил?.. Кто у дергачевского дворника жену опутал? По чьим наветам она мужа подушкой задушила?.. По чьему попущению в Сибирь пошла?.. Все твои грехи, Назар.

Все с ужасом внимали длинному перечню дедушкиных преступлений, по-видимому досконально известных бушующему Гуляеву... А Гуляев продолжал:

— Ты думаешь, спроста Терешка-то твой отцовские денежки по ветру разматывает, блудниц да плясунов одаривает? Ты думаешь, спроста Максим-то твой как свеча тает? — указал он на чахлого Максима Назарыча, беспокойно поглядывавшего на дверь, — нет, окаянный! то господь бог тебя наказует... то грехи твои на детях отзываются!.. Покайся, пока не поздно, старый пес... Не разводи грехов... Не вем бо ни дне, ни часа, в онь же придет.

Ахулкин, шумно негодуя, уходил из лавки.

Максим Назарыч лебезил перед ним, что-то горячо объясняя... Присутствующие шептались и сокрушительно вздыхали. Все были без шапок. Гуляев, в суровой позе, величаво стоял над Назаром Кузьмичом. Фигура его резко отличалась от толпы громадным ростом и полубиблейским костюмом. Назар Кузьмич угрюмо поникнул головою под градусом страшных укоризн... Серебристые, слегка кудрявые волосы его свесились на очки, костлявые пальцы нервно сжимали палку, губы беззвучно шевелились... Он и не пытался защищаться.

Вбежал запыхавшийся городской. Он спешно растолкал толпу и, схватив Гуляева под руку, повел его к дверям. Гуляев не сопротивлялся и, гордо подняв свою косматую голову, прикрытую страшной шапкой, торжественно шел около мизерного солдатика, расточая свои грозные речи:

— Приидет Сильный и воздаст каждому по делам его: и мытарю, и мздоимцу, и блуднику, и фарисею...

Наконец голос Гуляева не стал слышен в лавке. Все как-то разом повеселели и загово-

рили. Тяжелое впечатление понемногу остывало. Разнородные толки слышались... Ругали бездействие полиции, громко изъявляли негодование, а втихомолку хвалили Гуляева и благоговели пред его беззаветной смелостью... Многие радовались, что укоры обличителя на этот раз миновали их, и давали себе слово избегать неприятной встречи... Три-четыре бедняка, затесавшихся в толпу, ехидно перемигиваясь, улыбались... Максим Назарыч, бледный и встревоженный, тщетно старался овладеть собою и принять прежнюю позу ловкого торгаша. Дедушка по-прежнему сидел понуриив голову и сокрушительно вздыхал, судорожно барабая пальцами по ручке кресел...

В пылу разговора в дверях показалась сдержанно смеющаяся физиономия приказчика.

— Гуляев теперь Андрей Ликсеича срамят-с, — сказал он нам.

Мы высыпали из лавки. Против огромного домины первейшего N*** богача, Склянкина, стоял Гуляев и, с силою удерживая на одном месте городского, обличал Склянкина, трус-

ливо выглядывавшего в одно из громадных окон первого этажа.

— Помни мое слово, Андрюшка! пропадешь ты с своими деньжищами... Бог скупцам не мирволит... И грабителям не мирволит... И лихоимцам не мирволит... Ты за что анадьсь всей семьей невестку-то порол?..

Городовой упорно тащил Гуляева, но все его усилия оставались бесплодными... Наконец Гуляев тихо двинулся, все оглашая морозный воздух восторженными речами и негодуяще потрясая костылем... У лавок, противоположных дому Склянкина, трусливо сновали кучки приказчиков, тихо пересмеиваясь и ехидно толкуя о порке Ольги Михайловны, невестки Склянкина, местной красавицы и львицы... Фигуры Склянкина уже не было видно в светлых стеклах окна.

С улицы, по которой вели Гуляева, проходящих и разъезжающих словно метлой смело: спешили прятаться в дворы, сворачивать в переулки... Лишь простые люди — бедные, оборванные мещане да заморенные торговки бодро шли навстречу Гуляеву и радушно здоровались с ним: по-видимому, гроза местных

тузов был для них свой человек.

Вечером я был в клубе. Играли в карты. Один из партнеров обратился ко мне:

— Вы слышали? Гуляев сегодня несказанно срамил Ахулкина.

— Не только слышал, но был очевидцем... Он его какой-то казной все попрекал?

— А винокуренный-то завод! Он ведь ворует на нем страшно...

Я рассказал про обличенье Галдеева и Склянкина. Все посмеялись. Один из партнеров был исправник. Кто-то обратился к нему:

— Что вы его не смирите?

— А как его смиришь? Сколько раз он по приговору судьи сидел «за оскорбление на словах», и в кутузку-то его сажали без всякого суда, — вот и сегодня сидит, — ничего не поделаешь! — Отсидит, опять обличать...

— Вот с Никандром Михайлычем мирно живет, — засмеялся кто-то.

Исправник улыбнулся.

— И то меня пока не трогает, — сказал он.

«Не за что еще», — подумал я: исправник был новый.

— Кто он такой, этот Гуляев?

— Да однодворец из Пригородной слободы. С семнадцати лет в бегах был; есть основание предполагать, что на Иргизе в скитах проживал. В шестидесятих годах проявился было у нас, но каким-то образом замешался в бывших тогда в соседнем уезде крестьянских бунтах, и снова пропал. Явился опять лет шесть тому назад, и с тех пор зиму живет в келье у себя в слободе, изредка появляясь в городе и всегда делая здесь скандалы, а летом странствует в веригах по святым местам. Не боится никого и ничего. Терпит, как необходимое зло...

— А вы знаете, господа, — бойко тасуя карты, заговорил полковой священник, сидящий за соседним столом, — ведь Галдеев-то сегодня пятьсот рублей на новый колокол в собор пожертвовал.

— Что вы? — удивились все.

— При мне-с!.. У отца протопопа вместе были... Поминайте вечно, говорит, усопшего раба Мисаила.

— Мисаила?! — еще более удивились мы.

— Да, да, Мисаила-с... Уж бог его знает, что он хотел этим сказать.

— Это, должно быть, Гуляев его растрогал, — предположил кто-то.

Многие согласились.

— А как хотите, господа, — снова заговорил священник, доиграв игру, я не согласен с предположением, что Гуляев воспитывался на Иргизе-с... Сужу по его равнодушию к так называемой обрядности... Непременно духовборцы или иные сектанты-рационалисты повлияли на таковой склад его мыслей. Что же касается его увлечения ветхим заветом и особенно книгами святых пророков, то тут просто пуританством времен Кромвеля пахнет-с! А его толкования апокалипсиса и некоторых изречений искупителя, воля ваша-с, отзываются некоторым жидовством! — Тут священник развел руками.

— Как бы новую веру не завел! — засмеялся кто-то.

— Нет, он ведь с простым народом о вере мало толкует, — сказал батюшка, проворно сдавая карты.

— А помните, господа, прошлогоднее ката-нье? — спросил исправник.

Все засмеялись. Я спросил в чем дело.

— Да прошлую масленицу Гуляев все катанье разогнал. Стал среди улицы и давай обличать кого в чем!.. Барынь особенно донимал, ну, а мужчин попрекал все больше насчет грабежа да мошенничества... Да если бы в общих, неопределенных словах, а то ведь упомянет, каналья, кого ограбил!.. Просто горе, да и только... Так катанье и разбрелось — кто куда...

— А то вот раз я был у отца протопопа, и Гуляев там... — затараторил батюшка.

— Да будет вам! — сурово остановил его какой-то угрюмый господин, сердито отсчитывая марки для ремиза, — вам ходить... Нашли о чем толковать — о сумасшедшем каком-то!..

Через три года Галдеевы обанкротились. Терешка спился с кругу, а Максим Назарыч умер в чахотке. Старик, полуслепой и начинающий выживать из ума, остался как перст. Ахулкина Никандр Михайлыч словил в воровстве, и суд приговорил его к штрафу в сто с чем-то тысяч. Это, впрочем, не помешало выбрать его снова в какую-то должность. Впрочем, он трудился недолго: какая-то аристократическая болезнь загрызла его, и он

успе во Флоренции на сорок восьмом году
своего жития.